

«НЕ ОТ МИРА СЕГО»

(К 20-летию со дня кончины Всеволода Михайловича Гаршина)

(24 марта 1888 г. – 24 марта 1908 г.)

Весной 1885 г., под вечер, в дверь меблированной комнаты в Троицкой ул., где я тогда жил, кто-то тихо-тихо постучал.... И когда я откликнулся, в маленькую прихожую тихо, тихо протиснулся, точно крадучись, бледный молодой человек, с задумчивыми глубоко-печальными глазами.

Это был Гаршин.

Я несколько раз встречался с ним у старика Плещеева, раза два был у него самого, и В. М. счел товарищеским долгом «нанести мне визит», как он полуконфузливо обмолвился при прощании.

Очень странный это был визит, надо признаться.

В весенних сумерках его скорей можно было принять за появление призрака в черном сюртуке. Очевидно, этот «товарищеский долг» стоил не малых усилий бедному Гаршину.... Как известно, В. М. был подвержен тяжким приступам душевного угнетения, особенно донимавшим его с наступлением весны, – и этот единственный визит ко мне, по несчастью, как раз совпал с этим тяжелым психическим моментом.

Это выдавало всё его тогдашнее причудливое поведение.

Войдя, В. М. пожал мне руку, но как-то рассеянно, будто мимоходом, почти не глядя на меня, и молча прошел к окну... Окно выходило во двор, в сумрачный колодезь, образуемый мокрыми от весеннего дождя стенами соседнего дома, вид, нельзя сказать, чтобы питавший веселые мысли. Поглядев некоторое время в колодезь, Гаршин почему-то тихо вздохнул и принялся бесшумно, с беспокойно блуждающим взглядом бродить как тень по комнате, точно человек, нигде не находящий себе места... На минуту задумчиво остановился он перед стоящей на комодке фотографией Ван-Занд в роли Миньоны. Оглядел любовно висящий над диваном снимок с картины Ге «Пушкин в селе

Михайловском». Зачем-то зашел за драпировку спальни и нежно, точно глядя, потрогал висевший над постелью образок... Потом он снова тихо вздохнул и, видимо, слегка успокоившись от какого-то необъяснимого внутреннего волнения, сел в кресло.

Естественно, что разговор при таком состоянии с В. М. завязался с большим затруднением.

Помню, начал он с того, что ему крайне совестно, что он у меня так долго не был и что сейчас он зашел ко мне со службы (он служил одно время секретарем железнодорожного съезда), и что эта служба его донельзя угнетает, т. е. не самая служба, а сознание, что, получая жалованье, он никакой существенной пользы не приносит и что на его месте другой, здоровый и сильный, принес бы гораздо больше пользы и был бы на своем настоящем месте.

Я старался всячески его разубедить, но он уперся на своем, что он будто захватывает чужое место и что ему стыдно брать даром чужое жалованье. Впрочем, сидел и говорил В. М. не очень долго... Он вдруг забеспокоился, заторопился домой, достал для чего-то из бокового кармана свою визитную карточку. Удерживать Гаршина в его тогдашнем состоянии, было, конечно, не совсем уместно.

– Итак, я у вас был... нанес, так сказать визит... – проговорил он с видимым удовольствием и протянул мне свою визитную карточку. И, видя мое недоумение, добавил: – Нет, возьмите, возьмите. Значит, я у вас был... теперь в этом нет ни малейшего сомнения. Ну, всего вам хорошего. – Лицо Гаршина озарилось на мгновение теплой, детски-милой улыбкой. – Всего.... всего...

И он также тихо, загадочно скрылся в темноте коридора, как сначала появился.

Визит был столь краток и странен, что и впрямь можно было бы подумать, что передо мной промелькнул призрак, если бы в руках моих не

осталось маленькой визитной карточки, которую я и по сей час храню в числе других более значительных литературных реликвий.

Всеволод Михайлович

Гаршин

Секретарь Общего Съезда

Русских жел<езных> дорог.

и внизу крупным гаршинским почерком:

9 ул. Песков, д. 20, кв. 6.

Невольно призадумываешься над этой маленькой карточкой. Автор «Красного цветка» и секретарь железнодорожного съезда – можно ли в самом деле представить себе что-либо более несовместимое, хотя, конечно, никакого чужого места Гаршин никогда не занимал и не мог занимать.

Вернее было бы сказать, что его детски чистой душе вовсе не было места на земле. Это был в полном смысле «человек не от мира сего»... Как тогда, весной, случайно забрел он ко мне в мой меблированный номер в Троицкой, грустно осмотрелся и загадочно быстро исчез, – так же случайно, казалось, забрел он и на землю.

Пришел, грустно осмотрелся и поспешно *ушел*.

Вот, в сущности, вся биография Гаршина.

А если хотите видеть его наиболее схожий, духовно схожий, портрет, ступайте в московскую Галерею Третьякова к репинской картине «Иоанн Грозный» и взгляните пристальнее в трогательно-прекрасное лицо смертельно раненого царевича. На лице этом точно читаешь: «Прощаю вам всем.... и уйду туда.... подальше от людской лжи и нечести». И если справедлива молва, что голову Репин частью списал с покойного В. М., то этот список, гениально схвативший гаршинское страдальческое выражение «не от мира сего», явился как бы пророческим.

Каждый раз, когда мне случается бывать в Третьяковской галерее или видеть снимок с этой репинской квартиры в витрине эстампного магазина, мне невольно вспоминается роковое девятнадцатое марта 1888 года и мне мерещится как живой искалеченный В. М., распростертый на дне мрачного колодца каменной лестницы, куда он бросился с четвертого этажа, и мерещится на его лице как раз то самое выражение, что запечатлено репинской кистью.

Когда Гаршина перенесли домой и почти умирающего спросили, не больно ли ему, он отвечал:

– Что значит эта боль в сравнении с тем, что *здесь*.

И указал на сердце.

О, это сердце! Как в гаршинском «Красном цветке» для его героя в этом цветке заключалось «всё зло мира», так в этом сердце, казалось, была скоплена «вся его скорбь», и оттого это бедное сердце так смертельно тосковало и эта тайная тоска неизменно отражалась в потупленном страдальческом взоре прекрасных глаз.

Что это был человек «не от мира сего», который скоро уйдет от нас, если это не сознавалось, то как-то неуловимо странно чувствовалось и создало в литературной среде совершенно исключительные отношения к Гаршину, если так можно выразиться, «бережно-почтительное». Не помню, чтобы кто-нибудь в присутствии В. М. позволил себе сказать грубое слово или обмолвиться непристойным анекдотом. Это был один из тех немногих наивно прямолинейных, прозрачно-чистых людей, присутствие которых, если хотите, даже стесняет, в соседстве с которыми делается невольно совестно за свое привычное житейское неряшество и легкомыслие. И самые мысли В. М., случайно оброненные по тому или иному поводу, всегда оригинально искренние, отличались той же наивной прямолинейностью «человека не от мира сего».

Накануне русско-турецкой войны он пишет одному своему товарищу-студенту: «За сообщение новостей из профессорского мира

весьма благодарен, хотя, по правде сказать, электрофорная машина Теплова и соединение химического и физического общества интересуют меня гораздо меньше, чем то, что турки перерезали 30 000 безоружных стариков, женщин и ребят. Плевать я хотел на все ваши общества, если они всякими научными теориями никогда не уменьшат вероятностей совершения подобных вещей....»

Помню, как-то на вечеринке у поэта Плещеева сидел я на стариковском «дедушкином» диване с А. П. Чеховым, и разговор по какому-то случаю зашел о необходимости литературной критики. Как раз подошел к нам Гаршин и, вслушавшись в беседу, проговорил своим тихим грудным голосом:

– А по-моему, критики совсем не надо, – и, улыбнувшись чуть-чуть насмешливо, добавил: – Потому что.... потому что если критика хорошее признает хорошим, а дурное – дурным, то она очень мало значит. Если же она поступает совсем обратно, т. е. хорошее признает дурным, а дурное – хорошим, то, разумеется, она приносит только вред... По-моему, лучше ее совсем не надо.

И задумчиво-печальный побрел в другую комнату.

– А ведь в сущности Гаршин прав, – заметил немного погодя с иронией А<нтон> П<авлович> и сам о чем-то задумался – Бог весть о чем. Быть может, о той самой критике, которая, как известно, оценила настоящим образом Чехова только после смерти.

Гаршина А<нтон> П<авлович> очень любил и не только ценил как писателя настоящим образом, но, надо думать, ближе других улавливал своим художнически-медицинским оком душевную драму, в нем происходящую.

На моих глазах на вечере у того же Плещеева мелькнула такая характерная подробность... Был опять А. П. Чехов и В. М. Гаршин – на этот раз особенно задумчивый и печальный. Совсем некстати В. М. одолел один очень скучный и очень узкий критик и, цепляясь за пуговицу его

сюртука, долго что-то тянул о значении Белинского и Добролюбова в русской литературе. Гаршин молчал хмуро и сосредоточенно и, видимо, думал совсем о другом. Воспользовавшись минутным перерывом, Чехов отвел скучного критика в сторону.

– В чем дело? – вскинул на Чехова недоумевающие глаза скучный критик.

Чехов пожал плечами и сумрачно проговорил:

– Помилуйте, *с ним* через пять минут будет истерика, а вы толкуете ему о Белинском и Добролюбове.

Сбылось ли предвидение А<нтон> П<авловича>, неизвестно, но не прошло и пяти минут, как Гаршин украдкой совершенно исчез с плещеевской вечеринки.

До чего нервы Гаршина в последние годы были напряжены и расстроены, показывает один случай, рассказанный мне Плещеевым. Когда варварски были закрыты знаменитые «Отечественные записки», игравшие в свое время роль литературной академии и в коих Алексей Николаевич состоял секретарем, последнее заседание редакции состоялось в той же многопамятной квартире Плещеева на Спасской (против Спаса Преображения), где происходили обычные литературные вечера.

Явился мрачный как туча, полубольной Щедрин, явилась постоянная сотрудница «О<течественных> З<аписок>» известная беллетристка Крестовская-Псевдоним; был, кроме Плещеева, и еще кто-то, кажется, Михайловский. Пришел и Гаршин. Удар был так жесток и горе так велико, что никто не находил слов для обычной беседы. Все молчали хмурые и подавленные, как у гроба дорогого покойника. Вдруг задребезжали окна и со стороны Спасской площади послышался грохот подъезжающих орудий. Это была батарея гвардейской артиллерийской бригады, возвращающаяся с ученья по соседству в казармы. Гаршин тревожно вскочил и бросился к окну. Как раз по команде батарея сделала заезд и, сворачивая в переулок, понеслась с пушками прямо на окна плещеевской квартиры.

– *Уже начинается!* – воскликнул побледневший Гаршин и, если бы его вовремя не подхватили и не успокоили, наверное, упал бы в обморок. Его расстроенному воображению чуть ли не представилось, что громыхавшая батарея приготавливалась бомбардировать редакцию...

Около того же времени, по сравнительно незначительному поводу, он ворвался ночью к тогдашнему премьер-министру графу Лорис-Меликову, настоял, чтоб его разбудили, и на коленях стал умолять «о милосердии и всепрощении».

Какой-то немецкий философ очень верно обмолвился, что «самая большая роскошь в наше время: это... *иметь сердце*», – и я решительно не могу себе представить, как бы мог существовать Гаршин в наше смутное время, окрашенное потоками крови, забрызганное грязью всяких плотских неистовств, ненасытно-жадное в оплевании самых дорогих человеческих мечтаний... Верно заметил на днях один старый писатель, что потомки наши, читая описание ужасов нашего времени, будут изумляться и не захотят поверить, что люди могли жить и дышать целые годы в такой кошмарной обстановке.

Не будем же изумляться трагической смерти Всеволода Гаршина.

В последний раз я виделся с ним опять-таки у Плещеева в декабре 1887 года, перед Рождеством. По случайному совпадению был опять и Чехов, зашедший проститься с А<лексеем> Н<иколаевичем> перед своим отъездом в Москву. Гаршин казался в этот раз оживленнее, чем всегда, и ничто не внушало темных предчувствий... Помню, мы все трое вышли от Плещеева. Не помню, о чем мы тогда говорили, о каких-то журнальных пустяках, но помню только, что на перекрестке Бассейной улицы и Баскова переулка мы с Чеховым попрощались с Гаршиным и он как-то особенно крепко пожал нам руки.... и вообще был как-то особенно трогательно внимателен. Мы с Чеховым невольно задержались на перекрестке и некоторое время провожали его глазами. Едва ли могло прийти на мысль, что это были, так сказать, «последние проводы».

А через какие-нибудь два месяца стряслась известная катастрофа.

И я узнал о ней, случайно повстречавшись на улице с М. Н. Альбовым, и был слишком удручен, чтобы отважиться идти в больницу на Бронницкую, куда был перенесен умирающий. Но на похоронах, конечно, был.

Впрочем, даже мертвый в гробу *он* был как-то странно привлекателен. Помню, жена Гаршина всё время долгой церковной службы стояла неподвижно у самого гроба, не отрывая глаз от дорогого лица. «Недвижим *он* лежал, и странен был томный мир его чела»...

Народа на похоронах было много, много было искренних слез, но, к сожалению, не было недостатка в пошлых праздных речах как около могилы, так и над могилой. Один из ораторов, помню, особенно отличился, подчеркнув в надгробном слове как главное достоинство покойного, что он был человек непьющий.

Из литераторов больше всех был удручен А. Н. Плещеев. В церкви во время отпевания он плакал как ребенок. На другой день похорон я провел весь вечер у него, и разговору только и было о Гаршине. Он ли еще не любил Гаршина! Крепко любил он Чехова, не могу пожаловаться на отношение к себе, но Надсон и Гаршин были его главные симпатии, и его отношение к ним носило характер чисто отеческой нежности. Излишне говорить, что Гаршин платил ему тем же, и, когда подошел юбилей Плещеева, душой празднования и главным инициатором явился В. М. Замкнутый и меланхоличный, он на время превратился в неутомного хлопотуна, и мне как раз пришлось по поводу составления юбилейного адреса несколько раз видеться с Гаршиным и лишний раз убедиться в его отзывчивом любвеобильном сердце. Для беседы с Чеховым, Надсоном, мной и Мережковским у Плещеева был свой маленький фамильный словарь: так Надсона он звал «Надсонушка», Мережковского – «Ремешок», Чехова – «Милая Чехия», меня по отчеству – «Левшой» и т. п. Но

Гаршина он называл не иначе как «Всеволод Михайлович», что придавало обращению с ним оттенок какой-то трогательной почтительности.

Об отношении его к сочинениям Гаршина и говорить нечего. Появление каждого нового произведения В. М. было для него настоящим праздником.

Раз захожу к Плещееву и нахожу его в каком-то радостном возбуждении.

– Подите-ка сюда... что я вам покажу, – шепнул он мне с таинственным видом, подошел к письменному столу и протянул мне корректуру нового гаршинского рассказа «Медведи». – Замечательнейшая вещь... Положительно нельзя читать без слез, – добавил он, умиленно мигая своими добрыми глазами.

Действительно, сцена, когда седой цыган прощается со своим старым другом медведем Потапом, которого по приказанию начальства он должен пристрелить, хватает прямо за сердце.

Кстати припоминается, что именно из-за сочинений Гаршина вышла у меня первая ссора с поэтом Надсоном. Он только что был произведен в офицеры и жил вместе со мной на даче в Павловске. Как-то ночью после ужина, уже лежа в постели, Надсон завел разговор о Гаршине и загорелся, признаться, довольно нелепый спор. Я находил у Гаршина талант, а Надсон утверждал, что Гаршин гений.

– Талант, – говорю я.

– Нет, гений, гений, гений!! – капризно кричит Надсон.

И кричал до тех пор, пока не охрип от крика. Весь следующий день он дулся и не разговаривал со мной.

Невольно напрашивается, однако, вопрос, что же такое, однако, Гаршин.

Знаете ли, бывают такие одинокие небольшие особнячки, которые своей симпатичной внешностью производят куда более неотразимое впечатление, чем самое грандиозное здание, богато и вычурно

облицованное. Вот таким именно «особняком» стоит в литературе Всеволод Гаршин. И в этом исключительном, так сказать, «духовно уединенном» смысле можно, пожалуй, согласиться с мнением юного поэта... Если взять, например, «Красный цветок» – этот главный и характернейший перл гаршинского творчества, тут не только дыхание гения, а если хотите, нечто даже большее, ибо в каждом слове просачивается живая капля человеческой крови.

В 1881 году В. М. пишет одному своему другу, как тяжело доставалось ему это писание: «Хорошо или нехорошо выходило написанное – это вопрос посторонний; но что писал я в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови».

И Гаршин был в праве, более чем кто-либо другой, это сказать. И опять-таки прав Надсон, с своей точки зрения, ибо, конечно, всякое произведение, запечатленное человеческой кровью, никогда не умирает.

Всеволоду Гаршину не пришлось справлять своего десятилетнего юбилея, как это выпало на долю Леонида Андреева, ибо в наше время не было принято справлять «десятилетние» юбилеи, да и вся литературная деятельность Гаршина ограничилась десятью годами, и в эти десять лет он, конечно, он написал в десять раз меньше, чем многопрославленный автор «Жизни Человека». Но суд потомства не справляется ни с количеством, ни с шумихой современности, процеживая исключительно качество художественной меры и простоты, и я склонен думать, что гаршинский «Красный цветок» переживет андреевский «Красный смех», как его же «Происшествие» переживет андреевскую «Тьму». И почти уверен, что гаршинские «Записки рядового» и «Четыре дня» переживут даже злободневный «Поединок» Куприна

На днях мне случилось проходить по Троицкой улице мимо дома, где я жил четверть века тому назад – и, Боже мой, как мне сделалось вдруг

невъразимо грустно. Вспомнился странный, как видение, визит Гаршина, посещения Надсона, Плещеева и Чехова и многое, многое, чему была свидетельницей моя тогдашняя скромная меблированная комната. Бывало, сидишь в своей «меблирашке», пишешь или читаешь – нет-нет кто-нибудь да и постучит в дверь. И непременно подумаешь, кто бы это мог быть: Плещеев или Чехов. Чехов ведь обещался на этой неделе приехать из Москвы. Или, быть может, это Надсон объявился из своего хмурого Кронштадта.

Сейчас я живу не в «меблирашке», а на отдельной квартире, и в мою дверь стучатся чаще прежнего. Но уже не войдут больше на отклик.... Ни Плещеев, ни Чехов, ни Надсон, ни Гаршин.

Подготовка текста О. Л. Фетисенко